

# НОВЫЙ ЖУРНАЛ

THE NEW REVIEW  
RUSSIAN QUARTERLY

под редакцией  
М. М. КАРПОВИЧА и М. О. ЦЕТЛИНА

VII

НЬЮ-Йорк  
1944

## А. П. ЧЕХОВ

### (К сорокалѣтію его смерти).

На второе іюля текущаго года — по старому стилю — выпадает сорокалѣтіе со дня утраты нами Антона Павловича Чехова. Значеніе этой утраты переоцѣнить трудно. Лев Толстой — «сам» Лев Толстой! — говаривал, что Чехов — это наш «Пушкин в прозѣ». Думая о нем, я невольно ишу для него мѣсто в той портретной галлерей великих «скитальцев» русской литературы и жизни, которую я начал рисовать в предыдущих книгах «Новаго Журнала». Однако, право его на мѣсто в этой галлерей далеко не безспорно.

Для многих читателей Чехов до сих пор представляется художником-фотографом, безразлично направляющим то туда, то сюда объектив своей камеры. Он сам подал для этого повод. Куприну он внушал: «нужно стоять в нѣ описываемых вещей, и хоть знать их хорошо, до мелочи, — но глядѣть на них как бы с презрѣніем, сверху вниз, и тогда выйдет вѣрно». А Бунинна он убѣждал, что «садиться писать нужно тогда, когда чувствуешь себя холодным, как лед».

Мятушійся «страдалец-скиталец» Достоевскаго — и «холодный, как лед» художник-творец Чехова: это ли не два противоположных полюса? Но несоединимые элементы чистой логики — в жизни мы находим часто слитыми воедино. Именно таким живым сплетеніем наглядных противорѣчій был Чехов.

С одной стороны, в Чеховѣ был необыкновенно силен инстинкт «осѣдлости». Обосноваться, пустить прочно корни в землю, осѣсть, вросли в усадьбу — он пробовал это то в центральной Россіи (Мелехово), то выскивая землю для покупки в степях Самарской губ., куда он ѣздил на кумыс, то, наконец, в Крыму. Но как только это ему удавалось, в нем подымалась бунт противоположная скитальческая, даже бродяжеская стихія.

Когда Горькій, завязывая с ним знакомство личным письмом, упомянул — кажется, нѣсколько бравируя, — что «до литераторства был бродягой» — Чехов откликнулся ему очень серьезно. «Теперь о бродяжествѣ. Это, т. е. бродяжество, очень хорошая, заманчивая штука. Но с

годами как-то тяжѣешь, присасываешься к мѣсту. За неудачами и разочарованіями быстро проходит время, не видишь настоящей жизни, и прошлое, когда я был так свободен, кажется не моим, а чѣм-то чужим...» Так сам он замѣтил, что жизнь его, как маятник, колеблется между «присасываніем к мѣсту» и свободным полетом — прыжками в неизвѣстное.

«Уѣзжал он внезапно, словно по какому-то неотразимому внутреннему побужденію: оно было сильнѣе его» — рассказывал о нем И. Потапенко. Так, он как-то совершенно неожиданно «засуматошился, засобирался» — и двинулся в свою извѣстную экскурсію на Сахалин. В это время он как-то безотчетно волновался внѣевропейскими просторами. Так, Телешову он совѣтовал: «Поѣзжайте куда-нибудь далеко, верст за тысячу, за двѣ, ну, хоть в Азію, что ли. Перешагните непременно границу Европы, чтобы почувствовать под ногами настоящую азіатскую землю, — послѣ скажете мнѣ спасибо». Обосновать свою тягу он не умѣл. Когда его однажды попробовал отговорить от какой-то поѣздки Суворин, Чехов ему отвѣтил полубезпомощно: «пусть поѣздка моя — пустяк, упрямство, блажь. Но неужели за всю поѣздку не случится таких двух-трех дней, о которых я всю жизнь буду вспоминать с восторгом или горечью?» Значит, все равно, горечь ли, восторг ли, — «хоть гирише, та инше», чѣм обычное течение жизни. «Что-то новое в моем сознаніи, что я не обязан жить на такой-то улицѣ, в таком-то домѣ.... Весной уѣхать в Чикаго, оттуда через Америку и Великій океан в Японію и Индію». Иногда он мотивировал просто: «захотѣлось куда-нибудь подальше, гдѣ горизонт видно». Ликѣ Мизиновой он пишет: «Денег! Денег! Будь деньги, я уѣхал бы в южную Америку». Но Америка — только символ: «надо имѣть цѣль в жизни, а когда путешествуешь — то имѣешь цѣль». Итак, общее жизненное бездорожье требует суррогата — в физическом движеніи... Отсюда такое, напр., письмо: «Я ѣду в Ялту и положительно не знаю, зачѣм я туда ѣду. Надо ѣхать и в Тироль, и в Константинополь, и в Сумы; всѣ страны свѣта перепутались у меня в головѣ, фантазія кишит городами, и я не знаю, на чем остановить свой выбор». В самом дѣлѣ, Щеглову он пишет, что намѣтил Корфу и Мальту. Ковалевского он ждет — «поѣдем вмѣстѣ в Африку, постараюсь заѣхать как можно далѣе, и чтобы мое путешествіе хоть немного походило на труд, а то, право, становится уж совершенно совѣстно: препротивный эгоизм»... Лейкину о том же он пишет в искусственно залихватском тонѣ: «ах, будь у меня

лишних 200-300 руб., показал бы я кузькину мать! Я бы весь мир из'ѣздил!» И по большей части все это — «плѣнной мысли раздраженье», самообман и чистѣйшая символика: «вспомните, что писатели, которых мы называем вѣчными, имѣют один общій и весьма важный признак, они куда-то идут, и нас зовут туда же... А мы? Ни тпру, ни ну! Дальше хоть плетями нас стегайте... Политики у нас нѣтъ, в революцію мы не вѣрим, Бога нет, привидѣній мы не боимся...» Гдѣ же тут выход? Излѣчиться — не без загадочности говорит тут Чехов — возможно, конечно, и притом самым простым и крутым средством: «встань, возьми одр свой и пойд!».

Да, и Чехов не избѣг власти «скитальческой стихии». Правда, из своих скитальческих порывов свершить удалось ему немного. Они были скованы, заморожены условиями жизни и литературной трагедіи Чехова. Это был не страстный скиталец типа Толстого или Бакунина. Это был скованный, застывший, оледенѣлый скиталец... По его собственному опредѣленію, парализованный «присасываніем к землѣ»...

\*  
\*\*

Не менѣ внутренне противорѣчив он и в других жизненных вопросах.

Он был и открыто заявлял себя чистым, послѣдовательным атеистом. Правда, атеизм его был не воинствующим, не бунтарским, не богоборческим, а устоявшимся, тихим и спокойным: если хотите, тоже «холодным, как лед». Когда ему предложили в одной редакціи работать вмѣстѣ с Мережковским, он отвѣчал, что даже и представить этого себѣ не может: «он вѣрует опредѣленно, вѣрует учительски, в то время, как я давно растерял свою вѣру и только с недоумѣніем поглядываю на каждого интеллигентного вѣрующего».

А рядом с этим он много занимается церковными дѣлами. И не в том дѣло, что до конца жизни он любил церковное пѣніе, колокольный звон, пасхальную заутреню, разговѣнье. Это у невѣрующих не рѣдкость: со всѣм этим связаны воспоминанія «золотого дѣтства». Но Чехов не только издали любовался своеобразной эстетикой, присущей религіи и церкви. Он проявлял себя в жизни, то как усердный жертвователь на церковныя нужды; то как член епархіальнаго училищнаго совѣта; то как строитель колокольной; то как член попечительства о церкви.

Кто-то об'яснял это тѣм, что вообще Чехов был «виртуо-

зом безучастной вѣжливости». Правда, он говаривал с легкой усмѣшкой в углах рта: «лучше сказать человѣку мой ангел, нежели пустить ему дурака, хотя человѣкъ меньше похож на ангела, чѣм на дурака». Ему была свойственна и составляла один из элементов его личного очарованія мягкая, тихая, сконфуженная деликатность; но во власти над Чеховым церковных дѣл сказалось, как обнаружится дальше, нѣчто иное: своеобразная родовая и личная традиція, послушным рабом которой не быть он просто не мог: слишком уж «присосался к землѣ».

Думая о своем жизненном призваніи, о профессіи, Чехов остановил свой выбор на медицинѣ. Он считал выбор свой безповоротным, и серьезно пытался быть доктором. Но и тут двойственность и противорѣчивость его натуры дали о себѣ знать рѣзко и круто в надрывных признаніях:

«Ах, как мнѣ надоѣли больные! Больше всего надоѣли бабы с младенцами и порошки, которые скучно развѣшивать...

«Скучно! Не принадлежать себѣ, думать только о поносах, вздрагивать по ночам, не за мной ли пріѣхали... и в то же время быть совершенно равнодушным к очередной болѣзни и к тѣм людям, которым служишь...

«И страшно, и скучно, и противно... Дѣвочки с червями в ухѣ, поносы, рвота, сифилис, — тыфу!»

А Суворину в один из моментов такого настроенія он просто и кратко пишет: «Опять расклеился, раздражен чертовски. Не создан я для обязанностей и священнаго долга. Простите сей цинизм».

Надо ли прибавлять что ни грана цинизма в Чеховѣ не было, а если бы был, то не перед Сувориным же, циником до мозга костей, было бы за него извиняться? Чехов просто безстрашно вглядывается внутрь себя и говорит ту правду, которую обычно скрывают не только от других, но и от себя самого.

И еще один образец, безпошадной искренности, прикрытой, по чеховски, легкой насмѣшкой над всѣми и самим собою прежде всего.

В 1891 г. Чехов поѣхал «на голод». На него рассчитывали — да и сам он намѣревался — послужить своим пером энтузіастам помощи голодающим. И вот, неизвѣстно почему, по какой-то жизненной инерціи, он ѣдет вмѣстѣ с вдохновителем «Новаго Времени», А. С. Сувориным. Результат естественен, и сам Чехов описывает его с тонким юмором. Вездѣ — в Нижнем, в Воронежѣ — одно и то же: обѣды у

губернатора, поѣздки на осмотр заводов мѣстных промышленных магнатов, «блины, разговоры, очаровательныя улыбки, сценическія дарованія дочек владѣльцев», «затѣм чай, варенья, опять разговоры и, наконец, тройка с колокольцами». И стопроцентно-чеховское заключеніе: «одним словом, с голодающими дѣла идут недурно...»

Суворин, конечно, именно в поѣздках такого рода чувствовал себя в своей стихіи. Но Чехов? На обѣдѣ у губернатора приходится ему «много говорить и слышать о голодѣ». Общее впечатлѣніе: «правительство ведет себя недурно», и «частная инициатива со стороны администраціи препятствій не встрѣчает, а наоборот: дѣлай, что хочешь».

Опять таки, если бы это писал Суворин для успокоенія читателей «Новаго Времени», все было бы просто и естественно. Но гдѣ тут Чехов? Его нѣтъ, он куда-то спрятался. Что его поѣздка по голодающим мѣстностям не ограничилась интервьюированіем губернаторских чиновников, и что он знал, до какой степени права человѣка в Россіи были далеки от «дѣлай, что хочешь», — всякій поймет без особых доказательств. Болѣе того, мы знаем, что краешек завѣсы с подлинной, кошмарной дѣйствительности голода 1891 года поднять он успѣлъ, — знаем по письму его к Кони: «Я видѣлъ голодных дѣтей, тринадцатилѣтних содержанок, пятнадцатилѣтних беременных, проституток с двѣнадцати лѣтъ, до наступленія менструаціи...»

Какими словами выразить то, что подымается в сердцѣ и умѣ от созерцанія таких кошмаров? Чехов предпочитал молчать или отдѣлываться шуткою над самим собой. Одному из лиц, заинтересованных в чеховской поѣздкѣ и ждущих от него таких же взволнованных и волнующих рѣчей, какія уже раздались из уст Льва Толстого и Короленко, он сознается: «принимался писать двадцать раз, но выходило так фальшиво, что всякій раз бросал. В статьѣ я не лгал, но был какой-то фальшивый, натянутый тон, какого я не выношу ни в своих, ни в чужих статьях».

И еще одно из многих, слишком многих противорѣчій. В домѣ Чехова часто наблюдалась какая-то «вакханалія гостепріимства». Он превращался в какой-то проходной двор для пестрой, случайной любопытствующей толпы. И это не было простым злоупотребленіем деликатностью хозяина. Один из его братьев (М. П.) как раз про «необыкновенные по душевному подѣму годы» писателя, 1888-89, говорит, что он «не мог обходиться без людей». А сам он Суворину признавался:

«Я положительно не могу жить без гостей: когда я один, мнѣ почему-то дѣлается страшно».

Перед нами, как будто, человек рѣдкой, широчайшей общительности. А между тѣм он носил кольцо с выгравированной на нем надписью: «Одинокому весь мир — пустыня». И в записной книжкѣ его прочли: «Как я буду лежать в могилѣ один, так, в сущности, я и умру одиноким».

Одиноким, в сознании его, он, как будто и умер — хотя у одра его болѣзни до самой смерти находилась его любящая и любимая жена. Лед одиночества был не внѣ, а внутри его. Она вопіяла: «Вѣдь у тебя любящее, нѣжное сердце, — зачѣм ты дѣлаешь его черствым?» Черствостью она называла чеховское не то неумѣнье, не то нежеланье выйти из твердой скорлупы замкнутости в себѣ самом. А он отвѣчал: «Зачѣм ты еще сердись, что я с тобой ничѣм не дѣлюсь? Чѣм? У меня рѣшительно нѣтъ ничего»...

Такой большой почитатель Чехова, но вмѣстѣ зоркій наблюдатель, как Бунин, про него писал: «Того, что совершалось в глубинѣ его души, никогда не знали во всей полнотѣ даже самые близкіе к нему люди... Сдержанность не покидала его даже в самыя задушевные минуты наших разговоров... Всегда со всѣми он был любезен, с нѣкоторыми даже ласков. Но и тѣх, и других неизмѣнно держал он на нѣкотором разстоянии от себя».

Отчего? Может быть, от того, что не хотѣл отвѣчать чужим так, как женѣ: «Пожалуй, барышня придет спрашивать, как жить надо, а я и сам не знаю... или гимназисты совѣтоваться насчет самоубійства...»

Так или иначе, но нѣчто подобное подмѣтил в Чеховѣ и Куприн: «Думается, что он никому не раскрывал и не отдавал своего сердца вполне... но ко всѣм относился благодушно безразлично в смыслѣ дружбы...»

И еще он писал, — не без излишней театральности, но по существу необыкновенно мѣтко: «в своей удивительной объективности, стоя выше частных горестей и радостей, Чехов все знал и видѣл; но ничто личное не мѣшало его проникновению; он мог быть добрым и щедрым, не любя, ласковым и участливым без привязанности, благодѣтелем, но не рассчитывая на благодарность. И в этих его чертах, которыя всегда оставались неясными для его окружающих, кроется, может быть, главная разгадка его личности».

Предположим, что это так, что мы имѣем дѣло с человеком, органически неспособным имѣть друзей и быть им другом.

Однако же, был и у него человек, котораго он резко выделял из рядов других — из рядов, в которых был и Бунин, и Куприн, и Левитан, и другие крупные люди его времени. Но обречение этого «избранника» — новая загадка. В 1893 году он писал А. С. Суворину: «кромѣ Вас, я ни с кѣм не переписываюсь и ни с кѣм долго не разговариваю. Это не значит, что Вы лучше всѣх моих знакомых, а значит, что я к вам привык и что только с вами я чувствую себя свободно».

Чехов как-то раз меланхолически замѣтил, что он — тот, кто по Гороховой шел и гороху не нашел, был свободен и не знал свободы, весь был в литературѣ и не жил с настоящими ея служителями. Суворин был от природы одарен и умен. Но у него не было ни *foi*, ни *loi*, единственным его богом был успѣх, и ради успѣха он, как флюгер, мѣнял свое направление. А Чехов упорно держался за этого величайшаго из политических циников Россіи 80-х—90-х гг. даже тогда, когда твердо сам себѣ сказал: ничего, кромѣ вреда, общеніе с «Новым Временем» мнѣ не принесло.

А, вот, постучавшійся в двери Чехова, чуткій и чистый человек, свящ. Шукин, ушел от него, словно холодной водой окаченный. «Вѣрно, я думал, его нѣтъ дома, и кто-то другой принимает меня. Разказы Чехова были нѣжны и ласковы к людям; слова в них красивы и грустны, как в пѣснѣ тихой и печальной; а взгляд человека, который говорил со мною, был холоден, слова коротки, сухи и отрывочны. Мнѣ казалось: не мог этот человек написать тѣх рассказы....»

Так обдать другого холодом, будучи человеком мягким, можно лишь в том случаѣ, если жизнь что-то жестоко заморозила в душѣ. Вопреки подозрѣніям жены, будто Чехов искусственно «черствит» свое «любящее, нѣжное сердце», надо в этом видѣть проявленіе какого-то болѣзненнаго душевнаго процесса. Его Чехов ощущал, как своего рода оцѣпененіе, замороженность, пустоту. Этой вгнѣздившейся в него стихіи он порою покорялся — и тогда он ее пытался реабилитировать, как что-то, дѣлающее художника — истинным художником, хотя бы цѣною умаленія, ущербенности в нем «человѣчнаго». Иногда же, присмотрѣвшись к той же чертѣ в другом — испытывал чувство отталкиванья. Так, перечитав в зрѣлом возрастѣ Гончарова, он «выбросил его из списка своих полубогов», потому что от гончаровских писаній на него дохнул «холод холод и холод». А между тѣм в нем шевельнулось опасеніе: «боюсь, что в этом отношеніи я очень похож на Гончарова...»

Своего апогея это трагическое чувство достигло в пред-

смертные дни. Когда жена прикладывала ему к сердцу лед, он вдруг с тихой и печальной усмѣшкой проговорил: «На пустое сердце льда не кладут...»

\*  
\*\*

Так, перед читающей Россіей встала «загадка Чехова». Для разгадки ея нужно прежде всего возстановить «исторію болѣзни».

О родинѣ его, Таганрогѣ, один из его земляков Н. А. Тан говорит как об «удалом» Таганрогѣ, одном из тѣх окраинных городов, которые были основаны степными бѣглецами, людьми упрямыми и с размахом, своеобразными «печенѣгами». В городѣ сохранились отблески их «буйнаго быта и степнаго приволья».

Была и в семейной хроникѣ Чеховых не совсѣм обыкновенная фигура, много говорившая его ближним и дальним потомкам. То был дѣд писателя, крѣпостной крестьянин Черткова-отца, какими-то судьбами с'умѣвшій выкупиться на волю за 3.500 рублей. Это само по себѣ уже кое-что значило. Чтобы накопить такую сумму, тамошній крестьянин тѣх времен должен был либо превратиться сам и семью превратить в угрюмых страстотерпцев скопидомства и накопленія, либо стать «степным рыцарем» рвачества. Не колеблясь в выборѣ между молотом и наковальней, он на волѣ устроился прочно и крѣпко: стал служить управляющим в помѣщичьих имѣніях.

О нем А. П. писал: «Дѣд мой был по убѣжденіям ярый крѣпостник». К крестьянам он относился с тѣм же чувством, с каким ренегат — к народу, который был им предан: он был с ними в состояніи непрерывной войны.

Во втором поколѣніи — в сынѣ «печенѣга» — типичный мѣщанскій декаданс. Крѣпостником в большом масштабѣ быть уже мудрено: остается роль маленькаго крѣпостника в собственной семьѣ.

Отец Чехова — бакалейный торговец. В Таганрогѣ много негоціантов-греков, составляющих замкнутый круг, нѣчто вроде купеческой аристократіи. Навязчивой идеей отца становится — во что бы то ни стало пробиться в эту аристократію. Если не самому — то через одного из дѣтей. План созрѣлъ: греческіе купцы имѣют свою собственную приходскую школу. Там, правда, преподаваніе ведется на языкѣ их домашняго обихода — новогреческом; но при помощи процвѣтающих в школѣ тѣлесных наказаній, развѣ может это быть препятствіем? И вот, будущаго русскаго «Пушкина в

прозѣ» ухитряются затискать в школу, гдѣ у всѣх родным языком является какая-то невѣдомая ему тарабарщина, на ней же говорят, задают и спрашивают уроки учителя. Отец убѣдился, что из его плана ничего выйти не может. «Антоша» от нео-эллинизма был освобожден. Но домашній режим с оплеухами и порками был не слаще греческаго. Но не только от тѣлесных наказаній «отца в домѣ всѣ трепетали», а из-за той суровой и требовательной «мертвой хватки», с которою он своим недреманым оком каждаго ловил на «бездѣльничаньи» и моментально «опредѣлял к дѣлу». Свободной минутки сыну имѣть не полагалось — избалуется. В этом домѣ все принимало гомерическіе размѣры. Лавка была идолом, требующим человѣческих жертв. Дѣтство в этом домѣ было не «золотым», а желѣзным. Как жужжаніе неотвязной мухи, в дѣтских ушах гудѣли слова: «нечего баклуши бить во дворѣ, ступай в лавку, да смотри там хорошенько, приучайся к торговлѣ». И сын «сидѣл за прилавком с утра до ночи, точно прикованный цѣпью».

Чуть ли не еще больше страдал «Антоша» от крайностей отцовскаго благочестія. Каждая суббота — всенощная, а послѣ нея, дома — семейное пѣніе канона. Между двумя и тремя часами ночи несчастныя жертвы неистоваго благочестія будили для воскресной ранней обѣдни, послѣ которой дома готовые заснуть на ходу ребята должны были благоговѣйно пропѣть хором акафист. А несчастнѣйшаго из всѣх, «Антошу», изводили еще частыя спѣвки: ему пришлось быть пѣвчим в церковном хорѣ мѣстнаго дворца. «Бывало — писал он — я с братьями пою в церкви «Да исправится» или же «Архангельскій глас», всѣх приводим в умиленіе, а сами себя чувствуем маленькими каторжниками». Позднѣе он писал: «Когда в дѣтствѣ мнѣ давали религиозное воспитаніе, и я читал на клиросѣ и пѣл в хорѣ, всѣ умилялись, я же чувствовал себя маленьким каторжником, а теперь у меня нѣтъ религіи. Вообще в т. н. религиозном воспитаніи не обходится дѣло без ширмочки, которая не доступна оку посторонних. За ширмочкой истязуют, а по сю сторону ея улыбаются и умиляются. Не даром из семинарій и духовных училищ вышло столько атеистов...».

Хуже всего маленьким каторжникам приходилось зимой, когда худенькія тѣла просили тепла, а неумолимый бог — Товар требовал для своего сохраненія холода; когда тут же, в лавкѣ, с красным от стужи лицом и посинѣвшими руками приходилось готовить уроки, тщетно пытаюсь добыть из

чернильницы замерзшія чернила; невыученный урок нес за собою плохія отмѣтки, а онъ вели за собою суровый нагоняй от отца. «Лавка эта с ея мелочною торговлей и уродливой односторонней жизнью взяла у него многое» — рассказывал об А. П. брат. Еще бы! Вѣдь он «был знаком в дѣтствѣ со всѣми пріемами обмѣриванія, обвѣшиванія и всякаго торговаго мелкаго плутовства... прошел из под палки эту безпощадную подневольную школу цѣликом и вспоминал о ней с горечью всю жизнь»... Один из чеховских біографов (Дерман) считает, что «даже дѣтство Горькаго, — в котором было столько несправедливаго и ужаснаго,—менѣе мрачно, чѣм чеховское». То озарялось лучем свѣта в темном царствѣ — заступничеством чудесной, изумительной бабушки, и оживлялось «своеобразной борьбой, своеобразным протестом: озорным уличным анархизмом». Это — не имѣло «ни одного атома борьбы и активности» и не знало «ни одного атома лирической теплоты». Кажется самым настоящим чудом, что Чехов все же с'умѣл морально выжить, что душа его не замерзла совсѣм и сохранила способность оттаять.

Что же Чехова спасло? То, что, казалось, могло бы погубить. То была семейная катастрофа, разгром дѣдовскаго пепелища, разбросавшая членов семьи в разныя стороны. Бакалейная торговля отца не была спасена от банкротства ни акафистами, ни канонами, дом был продан с торгов, отец, а потом и мать перебрались в Москву. Мебель была забрана многочисленными кредиторами за долги. Для юноши это означало одиночество и нищету в том же Таганрогѣ, гдѣ ему оставалось — невѣдомо, на какія средства—кончать гимназію. А так как в двух классах он ранѣе оставался второгодником, то для окончанія курса требовалось еще три года. Он и принялся перебиваться грошевыми уроками, да скупыми подачками со стороны, оплаченными униженіем и низкопоклонством. Но за то — нѣтъ болѣе дававшей чужой ферулы, уже являлись проблески досуга, уже он мог распоряжаться ими по собственной волѣ. Их он стал проводить в мѣстной бібліотекѣ. Но не «проклятые вопросы» влекли его туда, хоть он и считал «стыдом не прочитать Бокля и Шопенгауэра». Замученный скукой вчерашняго торгашества и ханжества, он притягивался противоположною стихіей: легкаго, самодовлѣющаго смѣха. Он «открыл» наши юмористическіе — вѣрнѣе назвать, невинно-зубоскальные журнальчики той эпохи — Стрекозу, Развлечение, Осколки, Будильник. И в своей жизни он, у котораго по его собственным словам «в дѣтствѣ не было дѣтства» стал

ребячливым и проказливым «выдумщиком с вѣчно играющей селезенкой».

Разсказывали, как он мазал лицо сажеей, сооружал на головѣ чалму, облакался в бухарскій халат и с ружьем выходил в поле, пугая встрѣчных; гримировался то дьячком, то прокурором, то нищим, и в видѣ нищаго посѣтил даже дом дяди, забавляясь тѣм, что тот не узнал его и щедро выдал — три копейки! Болѣе того, уже в 1888 г., послѣ того, как его уже осынила литературная слава, он писал Полонскому, в объясненіе своих экстравагантностей; «но что дѣлать, если руки чешутся и хочется учинить какое-нибудь тра-ла-ла!» И поздніе рецидивы самага забубеннаго ребячества поддерживали у многих тот же оптический обман. Станиславскій говорил про него, что это «самый большой оптимист, какого он знал». Бунин говорил, что в основѣ его натуры лежала жизнерадостность; сам Чехов писал Авиловой: «я человекъ жизнерадостный»; но в другом письмѣ (к Хотяинцевой): «замѣчено, что мрачные люди, меланхолики, пишут всегда весело». Это кажется парадоксом; но развѣ не мѣтко было опредѣленіе, данное Гоголю Пушкиным: «веселый меланхолик»? И развѣ сам Чехов не признался себѣ однажды: «Мнѣ кажется, что я обманываю критику своими произведеніями, как обманываю многих своим серьезным или веселым не в мѣру лицом...» С. Елпатьевскій оказался зорче, когда сказал, что «Чехов — это сложный узорчатый рисунок с печальным колоритом...»

Исторія Чехова-литератора полна значительности. Но с чѣм он вошел из приазовских степей в литературу? Он был совершенно чужд «вѣяньям времени» — отголоскам начавшагося трагическаго поединка едва зародившейся революціи с многовѣковым самодержавіем. Свидѣтельства сверстников всѣ совпадают. «Не зачитывался Лавровым, Михайловским, Бакуниним». «Держался особняком от кружков, изучавших Писарева, Добролюбова, Герцена». «Не спорил о значеніи политическаго террора в Россіи, не одобрял и не порицал его». Был скрытен и замкнут. О чем-то одиноко думал, и одноклассники даже прозвали его «головастиком». Своего рода маніей была у него «ревнивая, мнительная самостоятельность». Семнадцатилѣтним подростком поклялся он — во что бы то ни стало «разбогатѣть», «властью денег» вознестись на высоты, на которых только и доступны два высшихъ жизненныхъ блага: свобода и господство над жизнью, а не рабство у нея. Какое сходство с «Подросткомъ» Достоевскаго! В успѣхѣхъ был непоколебимо убѣжден: иначе как перенес бы он гнетущую

подневольность безпросвѣтнаго настоящаго? Двоюродному брату писал: «Разбогатѣю, а что разбогатѣю, так это вѣрно, как дважды два четыре». А пока — терпѣл, гнулся и повиновался; привыкал гнуться и терпѣть.

Человѣкъ другого, болѣе ранняго поколѣнія, так же, как и он «под гнетом роковым проведеній дѣтство, а молодость — в мучительной борьбѣ» — говорю о Некрасовѣ, — познал на собственном горьком опытѣ, что «недолгія нас бури укрѣпляют, но долгія — навѣки поселяют в душѣ привычки робкой тишины». Сравните же с этим горестным познаніем другое, выраженное в чеховских словах: «Я робок, я неувѣрен в себѣ: у меня трусливая совѣсть, я никак не могу приспособиться к жизни, стать ея господином. Иной говорит глупости и плутует, и так жизнерадостно: я же, случается, сознательно дѣлаю добро — и испытываю при этом только безпокойство или полнѣйшее равнодушіе. Все это, Гаврилыч, я объясняю тѣм, что я раб, внук крѣпостного...»

Формально все это говорит сам о себѣ не Чехов, а один из его персонажей; но развѣ заключительныя слова — «я раб, внук крѣпостного» не раскрывают скобок? У кого послѣ этого еще остаются сомнѣнія, пусть обратится к письму, гдѣ Чехов предлагает Суворину тему:

«Как молодой человѣкъ, сын крѣпостного, бывшій лавочник, пѣвчій, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитаніи, цѣлованіи поповских рук, поклоненіи чужим мыслям, благодарившій за всякій кусок хлѣба, много раз сѣченный, ходившій по урокам без калош, дравшійся, мучившій животных, любившій обѣдать у богатых родственников, лицемѣрившій и Богу и людям без всякой надобности, только из сознанія собственного ничтожества... — как этот человѣкъ выдавливал из себя по каплям раба, — и как, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человѣческая...»

Я не знаю другого примѣра, когда бы человѣкъ с'умѣл в таких немногих, простых, скупых словах сказать всю безпощадную правду о самом себѣ. Для этого надо быть тѣм несравненным мастером слова, каким был Чехов. «Сказано слово, и все объяснилось», и нѣтъ болѣе «загадки Чехова»: ключ к разрѣшенію дан тѣм самым человѣком, который так долго и так тщательно держал сердце свое взаперти от других. Кто-то сказал, что «о Чеховѣ надо писать мелко и четко», потому что у него — «как на палубѣ военнаго корабля, нѣтъ

ничего лишняго». А обозрѣть оставленную им сокровищницу самоцвѣтныхъ камней творчества мудрено «безъ самаго хозяина» — т. е. не имѣя все время передъ собой образа самого художника съ его двойственностью оледенѣнія и оттаиванія, приземленія и скитальчества — физическаго и духовнаго; со всѣми противорѣчіями обезкрыленности и взлетов, духовнаго рабства и духовной свободы, жизнерадостности и горечи. В этомъ мутномъ броженіи рождалось и отстаивалось чистое и прозрачное вино чеховскаго творчества.

**Виктор Чернов.**